

Андрей
БИТОВ

Обоснованная ревность

повести



РЕДАКЦИЯ
ЕПЕНЫ ШУБИНОЙ

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б66

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

На переплете использована фотография из архива автора

Битов, Андрей Георгиевич.

Б66 Обоснованная ревность : повести / Андрей Битов. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2022. — 491, [5] с. — (Предметы культуры).

ISBN 978-5-17-148286-2

Проза Андрея Битова 60–80-х годов стала классикой русской литературы XX века, но сейчас ощущается как естественный ответ дню сегодняшнему. Сборник повестей «Обоснованная ревность» — аналог прижизненного издания, которое Андрей Георгиевич Битов (1937–2018) составлял с особой тщательностью. Книгу дополняет автобиографический «Постскриптум», написанный им в конце жизни.

«Я не человек стаи. Я вообще думаю, что человек не совсем стайное животное. Вот когда он из нее выходит, то получается маргинал. Художник или преступник. Мне повезло выбрать первое, но ведь могло случиться и второе. И, раз я еще жив, я не могу пройти совсем уж мимо жизни. Нет, нет! она коснется меня» (*Андрей Битов*).

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-148286-2

@ Битов А.Г., наследники
@ Бондаренко А.Л., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»

Содержание

От автора.....	7
Бездельник.....	9
Сад.....	33
Жизнь в ветреную погоду.....	93
Образ.....	129
Глухая улица.....	157
Лес.....	179
Обоснованная ревность.....	261
Похороны доктора.....	313
Вкус.....	331
Человек в пейзаже.....	369
Фотография Пушкина (1799–2099).....	431
Постскриптум.....	473

От автора

В 1964 году на страницах не то “ЛГ”, не то “Воплей” разгорелась дискуссия не то о судьбах рассказа, не то о судьбах романа. Приглашенный участвовать автор посмел утверждать, что воскрешенная усилиями Ю. Казакова и других наших лучших прозаиков традиция рассказа Чехова и Бунина уступила стремлению поколения написать роман, но поскольку трудно за него усесться в наше “торопливое, поворотливое время”, рассказ стал удлиняться то ли до слишком длинного рассказа, то ли до недлинной повести, то ли до фрагментов, намекающих на будущий роман. Короче, то, что по-английски определяется как “лонг-шорт сториз”. Иные критики тут же накинулись на меня за попытку подорвать основы “великой традиции русского рассказа”.

Я был неправ, конечно. “Зачем, — как замечал Паскаль, — говорить: благородное, прекрасное, стремительное, бескорыстное... не проще ли сразу употребить слово «лошадь»?”

Не проще ли сразу употребить слово “повесть”?

Цветаева писала Пастернаку про “Воздушные пути”: “Только зачем Вы назвали свою прекрасную прозу рассказами? Пусть Чириков пишет рассказы! Куда лучше русское слово «повесть””.

Действительно, вот, где мы и пионеры и чемпионы жанра. “Повести Белкина”, “Петербургские повести”, “Записки охотника”, “Хаджи-Мурат”, “Дуэль”, “Поединок”, “Сентиментальные повести”, наконец...

Я увлекся этим представлением в 1962 году. Чем больше я ему отдавался, тем хуже меня печатали... Рукопись, полученная от машинистки (30 строк × 60 знаков в строке) становилась первой публикацией. Чем удачней бывал текст, тем

чаще в нем оказывалось либо 49, либо 82 страницы. Мои страницы были плотнее, и я с нетерпением ждал результата: не перечитывая, заглядывал в конец рукописи, чтобы убедиться в последней цифре.

В запутанном определении жанра для меня основным параметром стал объем.

Составляя это “Избранное”, ограниченное издателем как 25 авт. листов (600–625 стр. на пишущей машинке по прежним редакционным нормам), т. е. не более 10% из всего написанного, я не мог найти принципа дискриминации, кроме как по объему, т. е. 49 или 82...

В среднем — 60. Пришлось повыдергивать их из разных, уже окончательно сложившихся книг.

1962–1985... Повести!

АНДРЕЙ БИТОВ
9 октября 1997. СПб

Бездельник

Руководитель сказал мне:
— Нет, Витя, так не пойдет. Так не годится. Не могу, Витя, понять, чем у вас голова забита. Вы производите впечатление такого солидного человека, а на поверку выходит что? Выходит вот что. Испытательный срок кончается? Кончается. А кончится — будет что? Будет фук? (Это он так шутит.) Так вот, слушайте меня внимательно...

Это он верно отметил. Впечатление такое я произвожу. Я произвожу очень много разных впечатлений. Солидного человека — тоже. Точно, какой я на самом деле, сказать не могу. Возьмем, скажем, зеркало. Ведь именно перед зеркалом мы понимаем, какими нас видят люди. Для того и посмотримся. Я же редко узнаю себя в зеркале. То стою перед ним высокий и стройный, и лицо красивое, подтянутое, черты правильные и резкие, то невозможно толстая оладья — не понять вообще, есть ли эти черты. И не просто широкое, а безбрежное у меня иногда лицо, и сам я тогда коротенький и толстый. Одно время я думал, что только сам в этом путаюсь, а остальные видят меня объективно, с такими-то и такими-то определенными, именно мне присущими чертами. Оказывается, нет. Руководитель сказал мне как-то: “Позвольте, что с вами? Какой вы, оказывается, высокий! Вы что, на котурнах? Вы же всегда были низеньким?” При этом он знал меня уже около месяца и каждый день видел. Тогда, как водится, я заметил это за всеми. Не обращал, не обращал — и вот заметил. За всеми и всюду. И не только, что разные люди видят меня по-разному — и каждый в отдельности, даже лучший друг твой. И есть у меня один момент, так его я просто страшусь. Это мои уши. Их никогда не замечают сразу. И каждый твой приятель неизбежно когда-нибудь их заметит. У каждого на

это уходит разное время. Некоторые не замечают их очень долго. И это страшно. Представьте себе какое-нибудь собрание, в котором вы хотите произвести то или иное благоприятное впечатление, — и вдруг ваш приятель, разговаривая с вами, может, о чем-либо очень серьезном, замирает на полуслове, смотрит на вас удивительными глазами, лицо его делается неузнаваемым, и он начинает хохотать. И только в редкие промежутки, когда он, красный, пытается вдохнуть или выдохнуть, вы слышите свистящее: “Уш-ши... Посмотрите, какие у него уш-ш-ши!” И тогда все замирают, у всех удивительные лица, и все шипят: “Уш-ши! Уш-ш-ши!” А один даже сказал: “Что, у тебя и второе такое же?” — и заглянул сбоку. Так что ничего мы не видим сразу и всё видим по-разному. Не говоря о том, что люди — это разные люди. Ну а уж о том, какие разные черты характера вижу я в своем лице, глядя в зеркало, и говорить не приходится. Вот оно, волевое и нежное, лицо Джека Лондона. А вот фанатичное, сторевшее — одни глаза — лицо индийского факира. Вот лицо чемпиона мира Юрия Власова. Вот лицо князя Мышкина. А вот безвольное, грязное лицо, со следами разврата, лицо человека, способного на любую подлость. Есть, конечно, и кое-какие объективные, вернее, полицейские данные: глаза — карие, волос — русый, губы — толстые. Хотя кто знает: может, и это неточно.

— Теперь вы все поняли? — говорит руководитель. — Это все и переделайте, как я сказал. А то черт знает что, Витя. Теперь-то вы все поняли?

Что я понял? Что я должен переделать? О чем говорил мне этот ненавистный человек?

...Я встаю, беру бутылку чернил, подхожу, все движения мои замедленны и неумолимы, подхожу и выливаю бутылку чернил ему на лысину. Ну что, понял?..

Я сижу с ним рядом, смотрю на него ясными глазами и киваю.

...Я встаю, медленно лезу в карман, мои пронзительные серые глаза чуть прищурены, я так приподнимаюсь с носка на пятку и обратно с пятки на носок, медленно вытягиваю руку из кармана, и в кулаке у меня лимонка. “А это ты видел?” — говорю я и подношу гранату к его сизому носу. “Вот

разожму кулак, — говорю я, — и не будет ни тебя, ни этой проклятой конторы...”

Я сижу рядом с ним, смотрю на него ясными глазами и киваю.

...Я встаю, смотрю на него моими зелеными ненавидящими глазами и бросаю ему в лицо всю правду. Голос мой чуть дрожит от негодования. Я не такой, говорю я, он от меня этого не добьется, я человеком останусь, а если ты на что-либо такое надеешься от меня, так вот на тебе, выкуси!

— Вижу, вижу, — говорит руководитель особым, поощрительно-ласковым голосом, — по глазам вижу, что поняли.

Что он понял? Что он понял по моим глазам? Что я в результате должен со всем этим сделать? С сегодняшнего дня я посвящу себя... Чему?? Я буду не спать четыре ночи, и я придумаю новую машину, и она сама собой устранил все те нудные переделки, которые мне надо сделать, а какие — даже не расслышал. Потом я разоблачу этого руководителя, я раскрою всем глаза. Я буду вдумчиво и благородно относиться к людям на его месте. Потом в три года, титанической работой бессонными ночами, я закончу все те заведения, которые я не закончил. Защищу докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. Стану руководителем крупного научно-исследовательского института. Совершенно новая отрасль в науке! И вот я через пять лет академик, минуя члена-корреспондента. Тогда я вспомню о несчастном руководителе, который окончательно опустился на дно, погрузившись в пьянство и разврат. Я благородно подам ему руку и извлеку его. И вот мы трудимся бок о бок... Тьфу! И из-за этого я не буду спать долгие бессонные ночи? И жить не буду? Не буду знать простых человеческих радостей? Э-э-э, нет. Чтобы я стал таким, как вы, хотя бы и поглавнее? Не буду я ничего этого делать. Не буду я не спать бессонных ночей!

Думаете, как приступить?

Как он бесшумно подкрался! Только у мерзавцев может быть такая неслышанная походка. Так бы и... Что ты врываешься в мой мир?! Оставь меня хоть на минуту в покое! Все — надо, надо... А можно? Если “можно”?

— Да, думаю вот.

— А вы не думайте. Вы приступите, а потом думайте.

— Да? — говорю я дурацким голосом. — Вы думаете, так лучше?

— Испытанный способ, — говорит он.

— Значит, испытанным способом? — говорю я.

— Да, да! — говорит он почему-то сердито и уходит.

Ну и черт с тобой! Я уже через месяц видеть тебя не могу, а что будет дальше? Кончится испытательный срок, не справлюсь — ну и слава богу. Хоть видеть тебя не буду. А когда меня уволят, я превращусь в невидимку. Невидимый, я пройду через ваше бюро пропусков без всякого пропуска. Наконец-то никто не будет меня сличать с документом — я ли это? Я буду на этот раз точно я, и я пройду сам, свободно. Я пройду, вскрыю все сейфы, сожгу все личные дела, всё сугубо секретное перенесу в бухгалтерию, а бухгалтерские книги положу в секретные сейфы, вызову по телефону руководителя к директору, а директора — в управление, тогда я включу радиозел и буду пускать самые веселые пластинки и объявлю всеобщие танцы...

Вот опять чуть не пропустил свою очередь на хорошую работу. Перетаскивать шкафы с третьего этажа на первый. В прошлый раз задумался и пропустил, а пропустил — и все (у нас на такие дела очередь за неделю). И пришлось мне тогда целый час на инструктаже корчиться. У меня судороги, если руководитель говорит больше минуты. А тут еще выбрал он меня, чтобы смотреть на слушателей. Такая у меня подлая манера внимательно слушать, вид такой. А если, что чаще всего, я ничего не понимаю, то какая-то подлая сила толкает меня кивать и поддакивать и смотреть тем более проникновенными глазами. Любой оратор сразу нащупает меня в аудитории. А потом попробуй отключись, когда он все время на тебя смотрит, а ты уже полчаса киваешь, и вся фигура твоя уже одно сплошное понимание. И вопросов ждут именно от меня. Очень это все подлю.

Слава богу, шкафов я не пропустил. Подумать только, велика радость — таскать шкафы... А ведь радость. Что-то в этом есть человеческое. Мы таскаем шкафы, это очень тяжело и весело, и есть шанс какой-нибудь из шкафов сломать. “ЧУШЬ — Чрезвычайное Указание Шефа — ЧУШЬ”, — шутят как один наши смелые кандидаты, попадаясь в коридоре.

Тоже ведь страшно: что-то появляется человеческое, только когда ЧУШЬ, а в идеале, значит, и этого быть не должно? А ведь действительно ЧУШЬ. Для чего, спрашивается, мы вынимаем из шкафов три года пылящиеся пухлые папки, складываем (аккуратно, не перепутать!) их в коридоре, корчимся под шкафами на лестнице и снова набиваем внизу эти значительные в пустоте своей шкафы какой-то пухлой и пыльной дрянью? Папки эти еще ничего, а что меня совершенно поражает, кажется мистикой и просто не уместается в моем мозгу, так это скоросшиватели. СКО-РО-СШИ-ВА-ТЕЛЬ... слово-то какое! Как до такого люди додумались, не пойму. Ведь изобрести надо! Колесо, кремень — понимаю — это гениально. Но скоросшиватель — это какой-то ужас, извращение мозга! Еще есть дырокол. Тоже адское изобретение. ДЫ-РО-КОЛ, КРО-КО-ДИЛ... Даже для того, чтобы вытаскивать кнопки, существует специальная вилочка! Вот недавно наш сотрудник внес рацпредложение: сделать в людном месте, на скрещении конторских путей, ящик с ячейками по отделам, чтобы каждый мог класть какую-то свою дрянную бумажку в свою поганую ячейку, и чего-то там кому-то не надо будет сортировать. А что там сортировать?.. Еще и сортировать!.. Ящик повесили, сотрудник получил благодарность, 25 рублей премии, поощрен, можно сказать, и доволен и еще над каким-то атомным ящиком думает. Хочет централизовать все ящики. А дальше — больше. А мне все какую-нибудь гадость в этот ящик подсунуть хочется или все перепутать, переложить из одного в третий. Хотя, конечно, предложи мне руководитель отвлечься и проделать дыроколом дырки в его дурацких бумажках — я это с великим удовольствием. Маразм, конечно, но все-таки какие-то беленькие кружочки из него вываливаются... Или вот недавно какой-то тип на работу американский скрепкошшиватель принес. Стыдно, конечно, но развлечения нам было на целую неделю: все, что можно, сшили. Надавишь — сшито, надавишь — сшито. Атомный дырокол! И конечно, современная форма, никель блестит и всякие американские надписи. Так мы даже из дому через это дьявольское бюро пропусков бумаги какие-то проносили, чтобы сшить. Зачем? Для чего? Потом и это кончилось, руководитель загорелся и машинку выпросил, а владелец из подхалимства отдал. Теперь запретят

у себя в кабинете и играет. Тоже ведь невесело человеку... Есть еще гигантомания: скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки с пятак. Интересна также иерархия чернильниц и всяческой канцелярской роскоши. Вот, допустим, вам бегунок подписать, так можно все это проследить.

Есть чернильница-шеф, вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же! Есть чернильница-зам. Кажется, и нет почти разницы, тоже роскошная, а все-таки — зам. И так далее и так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверное, промышленности трудно справляться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу по чину. Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас! Есть и самая ненавистная мне чернильница-руководитель. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас чернильниц-черни и чернильниц-бояр соединился в ней. Да что говорить! Даже в красном уголке есть своя красная чернильница... И все-таки что-то есть хорошее во всей этой гадости, и хорошее заключается в том, что уж больно точно эта гадость выражена, никаких сомнений. Начните перетаскивать шкафы, и вы почувствуете радость. А почему?

Шкафы помогли. Не было даже самых страшных мучений, когда остаются последние четверть часа до конца работы. Эти четверть часа — наверно, то же, что медленное поджаривание. А тут этого не было: просто прозвенел звонок.

Так уж подло устроен человек! Только после гадости может ощутить радость. Ведь были же у меня счастливые времена, так ведь и ничего особенного я тогда не ощущал, не ценил, не понимал. Были, например, летние каникулы в школе. Я все чаще вспоминаю о детстве, и так грустно становится. И не то что розовое, что сам я был чистый и хороший, а теперь грязный и гадкий, не в невинности тут дело. Живой был, до самой последней клеточки! А сейчас я если и живу, то минутами, между чем-то стыдным и чем-то гадким. Так, что ли? Может, все-таки в невинности-то и дело?..

И вот дана мне радость: уходить с работы. Это трогательно, как все начинают собираться, чтобы быть совсем готовыми, когда прозвенит звонок. Как все складывают и прячут свой конторский инвентарь, и девушки начинают краситься, а некоторые из них, которые пойдут сегодня куда-нибудь,

даже накручивают бигуди, а потом надевают платок, и голова у них под платком словно бы угловатая. А как это удивительно, когда предпраздничный день и все, все девушки в автобусе с такими вот угловатыми головами, и даже кондуктор! И тогда я люблю их всех сразу. А они едут на службу. И столько уже в них готовности к празднику, что как же не понять, что едут они куда-то не туда и будут делать ненужное дело. А для чего? Это знает и ребенок. Чтобы “кушать”. Это я знаю со школы: “Рабочие трудятся с шести утра, колхозники дают тебе кушать, а ты опять не сделал урока...”

И вот все уже готовы, и одеты, и застегнуты на все пуговицы. И что-то замирает уже внутри — и вот звонок. И я бегу по лестнице, и пролетаю вахтера, скорей, и сердце у меня бьется, скорей, и хватаюсь за ручку тяжелой двери, и протискиваюсь, и рвусь, рвусь, словно там и Новый год, и летние каникулы, и словно я снова ребенок, и словно там все праздники сразу. Вырвался. Какая бы ни была погода — она всегда прекрасна, и первый вдох — радость. Я новорожденный, сильный, и словно не было рабочего дня, а ты только проснулся, почему-то плохо проспав ночь, но проснулся почему-то свежим и не усталым, и вот начался день. А тут еще небо синее, и солнце, и грязный снег прикрыт свежим и таким легким и белым, что неощутима его поверхность. Красный трамвай с белой крышей, повизгивая, огибает нашу службу. А мне идти через сквер, где много больше снега, и белые деревья, и роются красные, зеленые, синие дети, и это красное, синее, зеленое — все облеплено снегом и живет. И тихо сидят старухи на скамейках, и вообще тихо, хотя рядом и повизгивает трамвай, огибая нашу службу, но все равно тихо, потому что тишина — это вовсе не отсутствие звуков. А впереди, в этом же сквере, стоит заброшенная церковь, и купол у нее такой голубой, что растворяется в небе.

А вот и черный канал. Перехожу и попадаю на магистральную улицу. Тут много людей, и еще некоторое время, пока мной не овладеет суета, я могу идти и смотреть в лица. Многие люди проходят мимо меня, и я что-то понимаю про некоторых, они перестают быть незнакомыми — и проходят мимо, уходят. Тут приобретаешь и теряешь легко и мгновенно — прикосновение незнакомой жизни. Что-то тут не так. Особен-